

„ОГЛЯНИСЬ НАЗАД БЕЗ ГРУСТИ“

ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ

Писатель Натиг Расул-заде хорошо знаком молодому читателю, в том числе и читателю «Молодежи Азербайджана». В издательстве «Молодая гвардия» готовится в свет новая книга прозаика «Рисуя птицу». Предлагаем отрывок из повести «Оглянись назад без грусти», вошедшей в эту книгу.

...Понедельник — пятница. Потом: пятница — понедельник. Дни летят стремительно, как угорелые. Куда торопятся? После тридцати лет бегит катастрофически быстро, и кажется, что бежит оно, позабыв тебя, будто ты — запоздавший пассажир на перроне, а мимо проскакивают окна вагонов, и уже не вскочишь ни в один из них, потому что поезд скорый, а ты уже не совсем молод. Скажем так. Не совсем молод, чтобы вскочить, как бывало, на подножку вагона-пятницы или вагона-среды, и вот мчатся дни-вагоны мимо, а ты стоишь один в толпе насмешливых взглядов со своими вещами — чемоданом или саквояжем — все равно, теперь никому нет дела до твоих вещей и до тебя, нет до тебя дела и удаляющегося поезда, оставляющему после себя чистые рельсы и что-то, напоминающее горечь утраты.

Понедельник — пятница. Пятница — понедельник. Все острее чувствуешь потерю дней, каждого дня, промчавшегося мимо тебя, мимо, а не сквозь тебя, как бывало, промчавшегося, не затронув, не всколыхнув души, черт бы поборал...

Жара ужасная. Солнце светит и жарит, и кажется — не будет этому конца. Хочется пасмурных, дождливых дней. Хочется уехать из города туда, где идут бесконечные серые дожди, где можно ходить в плащах и куртках, где капли, чистые, как жемчуг, в свете ночных уличных фонарей сыплются на лица, на волосы, на руки... Жара — как бедствие. Люди передаются по солнечным тротуарам с энергией вареных креветок. Черт возьми, до чего же хорошо звучит это слово — осень. До чего приятно звучит сентябрь по сравнению с июнем: слова май, июнь, июль кажутся какими-то бесхребетными, размягченными, размоленными и вялыми по сравнению с молодыми, свежими и подтянутыми — несколько меланхолическим и грустным сентябрем, с октябрем в черном фраке и шляпе, строгим и печальным.

Понедельник — пятница. Рабочая неделя. Редакция, бесконечные телефонные звонки, до смерти надоевшие разговоры с авторами, редакторские совещания, зысыл материалов очередного номера в типографию, чистка корректуры, редактирование рукописей и прочее, прочее... А по вечерам приходит она и приносит свои маленькие проблемы, крохотные неудачи и небольшие радости. Она выливает на меня все свои новости разом, но я — неблагодарный слушатель: все ее слова скользят по поверхности сознания, и в памяти ничего не остается. Иногда переспрашиваю, и, как обычно, невпопад. Она обижается. Ведь только что рассказывала!

Ах, да. Прости, прослушал. О чем ты думаешь, скажи, пожалуйста? Ну вот... О чем думаешь... Что может быть нелепее этого вопроса?

Потом: пятница — понедельник. И два дня проходят незаметно, как несколько минут. Летят дни, летят будто угорелые, мчатся, убагают, как слепые, пустые окна вагонов, похожие на бессмысленный взгляд глаз сумасшедшего. Жара. Бумага прилипает к локтю. Тогда можно лечь на прохладный пол и работать, прикрыть глаза, закинуть руки за голову, писать, думать, писать. И не надо подходить, чиркать на машинке, и не будет бумага прилипать к правому локтю, а главное — так можно написать именно то, что чувствуешь. Не то, что на бумаге.

О чем ты думаешь, скажи, пожалуйста? Он молчит. Она

ждет и снова спрашивает. Ни о чем, нехотя отвечает он. Она огорчена. Дуется. Божья мой, к чему все это, думает он с досадой.

Был один из липких вечеров середины августа, когда она вытаскала его из квартиры, и они пошли гулять. На его столе лежал незаконченный рассказ о человеке, который ходил по ночам по пляжу и смотрел на звезды, крупные, как апельсины. Потом допишешь, сказала она.

Вчера умерла бабушка. За три часа до того, как она скончалась, отец вошел в мою комнату. Он подошел к окну и, не глядя мне в лицо, сказал:

— Бабушка совсем плоха...

Я что-то пробурчал в ответ утешительное. Он походил по комнате и вышел.

Перед смертью бабушка сказала:

— Трудно умирать.

Бабушке было восемьдесят девять.

Конец августа, но погода все еще, как и на протяжении всего лета, стоит жаркая, только один день выдался хмурым, с мелким дождем, словно предупреждая о приближающейся осени.

Было еще рано возвращаться в общежитие — только начало десятого, и от Элика с Мариной я поехал на тройке по Пушкинской площади, чтобы погулять по улице Горького. Снег приятно хрустел под моими ногами, выдался чудный морозный вечер. Возвращался к себе около двенадцати часов. На той половине этажа, где находилась наша комната, было непривычно тихо, и потому я сразу различил негромкое шипение со стороны кухни. Я торопливо пошел в кухню.

Газ на всех четырех плитах был зажжен, а посреди этого буйства огня лежал на раскладушке чеченец Хасан с ярого курса, лежал, словно в знойный полдень под абрикосовым деревом, заложив руки под голову и мечтательно глядя в потолок.

— Ты чего тут? — спросил я.

— В комнате холодно собачий, а я простужен, — сказал Хасан. — Здесь решил поспать немножко.

— Немножко — это сколько?

— Одну ночь.

— Смотри, пожару надеюсь.

— Нет, ничего не будет.

— Ну, смотри.

Я собрался уходить, но тут Хасан окликнул меня:

— Роман пишу, — сообщил он. Его так и распирало от гордости. — Замечательный роман. Скоро все ахнете, как начнем его обсуждать.

— Ну, ну... Ты же вроде стихи писал?

— А теперь вот, видишь, на роман замахнулся. Материал огромный, исторический, только в романную форму и амещается, понимаешь? Но роман получится — ахнете, вот какой!

— Желаю удачи.

Я пошел к своей комнате. В дверях торчала записка для Зорика. «Была, не зашла. Приеду завтра к 7 часам. Валия. Деловая девочка эта Валия, кто бы она ни была. Ни одного лишнего слова. Молодец. Даже жаль, что она не застанет здесь Зорика ни завтра, ни послезавтра. Он собирался переезжать на квартиру, снял где-то в районе Красной Пресни. И отлично, надо сказать, сделал. Поживу один. Зорик — замечательный парень, но я считаю, что это просто издевательство над человеком — заставлять жить в одной комнатухе в шестнадцать квадратных метров двух таких ребят, как я и он. Нет, пишущая братия непременно должна селиться по одному, изолированно. Неравы здоровее будут. Работа пойдет лучше...»

В дверь постучали, и вошел Атав, мой сокурсник из Дагестана.

— Дай мне машинку до утра, — начал он без долгих предисловий, — надо подстрочники стихов подготовить для семинара. Если хочешь, приходи на семинар, меня об-

суждать будут.

— Машинку не дам, — сказал я, — видишь, из нее торчит недописанная страница повести. Надо дописать.

— Эта страница торчит уже целую неделю, — недовольно пробурчал Атав.

— У меня творческий застой.

— Ну и черт с тобой. Застыдай и дальше, — сказал Атав.

— В таком случае, на семинар можешь не приходиться. На фиг ты мне нужен.

— И не собирался, — сказал я.

Он улыбнулся. Я хлопнул его по плечу:

— Спрячь зубы. Возьми у Женки машинку. Я ночью поработаю...

— В общем, не забудь, зайдя на обсуждение. Может, выяснешь что-нибудь в мое оправдание, — сказал он, уходя.

Я подошел к окну и стал смотреть на дом напротив. Он назывался «Зеленым домом». Он был покрашен в зеленый цвет и выглядел очень уютно, хотя совсем не был маленьким домом. Особенно сейчас, когда пошел хлопьями снег, он казался уютным. Зеленый дом. Так называлась и троллейбусная остановка напротив нашего общежития — остановка «Зеленый дом». Так ее объявляли водители троллейбуса. Я смотрел на зеленый дом, утонувший в ночи, как красивый старинный фрегат в пучине моря, и до боли ясно чувствовал свое одиночество. Окна зеленого дома чернели, казалось, бездонной глубиной.

В дверь опять постучали и опять вошел Атав, теперь уже с портативной машинкой под мышкой.

— Машинку не дал, дай хоть сигареты, — сказал он, — ни одной сигареты на ночь не осталось, а мне еще до утра вкалывать.

Я протянул ему полпачки дешевых сигарет «Дымок», и он ушел довольный.

Завтра в десять — лекция по зарубежной литературе, этот курс у нас читал — замечательно, надо сказать, читал — Станислав Джимбинов. На лекции Стасика, как мы его называли, приезжали студенты с филфака МГУ, вечно к началу его лекций возникали стычки из-за стульев, которых, как правило, не хватало, тогда как на других лекциях пустовала добрая треть аудитории. Непростительно опаздывать на лекции Стасика, нам это казалось таким же кощунством, как не прочитать новую повесть Трифонова, или не пойти на фильм Данелии. Завтра Стасик будет читать о Хемингуэе и обещал, если останется время, поговорить и о Сэлинджере тоже. Вряд ли, конечно, останется время. Стасик постоянно увлекается, его заносит все время в сторону от основной темы, но, увлекался сам, он, конечно же, увлекает и нас, всю аудиторию, и слушаем мы его, боясь упустить хоть слово. Я завалился спать, предаваясь удовольствию от завтрашней лекции по зарубежке, как от свидания с любимой девушкой...

— Что же ты будешь делать? — спросила она.

Они сидели на скамейке в маленьком аэропорту маленького южного городка. Два самолета на площадке. Тишина. Порой чирканье воробьев слегка царяло тишину. За их спиной — одноэтажное каменное здание, где он только что купил билет. Приглушенная пылью зеленая деревьев стена от здания. Ясный полдень, и четкие тени на земле. Он все еще не верил в реальность этого мира, в реальность происходящего, а прозрачный, горячий воздух, струющийся над ними, помогал ему в этом. Впрочем, ничего ведь особенного и не произошло.

— Хорошо тут у вас, — сказал он, а сам подумал: скверно.

— Да... — сказала она. — Не то что в большом городе.

— Разве ты не любила Москву? — спросил он.

— Нет... Теперь мне кажется, что нет.

— А не скучно тебе тут? —

спросил он и заметил ее удивленный взгляд. Забыл, подумал он, самое главное забыл, какая уж теперь скука...

Она окинула его равнодушным взглядом. Он усмехнулся — за три года они привыкли понимать друг друга с полуслова.

— Не нужно было меня вызывать сюда, — сказал он через некоторое время, с досадой отмечая про себя, что опять прав, — ведь только вчера мы с тобой говорили по телефону.

— Прости, — сказала она. — Прости меня... Я как-то не решилась по телефону.

— А теперь решилась.

— Он знает, что ты приедешь, я ему сказала. Прости меня.

— Ладно, — сказал он, — только я очень устал. Не спал ночь и опять лететь. Устал.

— Прости меня, — повторила она.

Низко над ними пролетела птица. Было очень тихо. Пятна солнечного света свисали на листьях деревьев.

— Тут можно чего-нибудь выпить?

— Да, — сказала она, — здесь рядом вино продают.

Он полез в карман и вытащил две мятые бумажки по рублю. Среди тишины резко, как удар колокола, прозвучало объявление аэропортового радиоула. Два раза подряд. Два выстрела среди тишины. Его самолет. Посадка.

— Ладно, — сказал он и пошел к площадке, где понуро стояли два самолета, похожие на послушных серебристых ослов.

— Пошел, — сказал он самому себе, шагая.

Она шла рядом. Девушка в синем у входа на площадку взяла его билет, посмотрела и вернула. Три пассажира с чемоданами поспешно вытаскивали билеты. Внезапно сделалось пасмурно. Он и она одновременно подняли головы. Небо затягивалось тучами.

— Я хочу, чтобы ты меня простил, — сказала она.

— Это ничего не значит, — сказал он. — Все это — чепуха. Она мельком взглянула ему в лицо и тут же, будто обожглась, отвела взгляд. Он напряженно улыбался.

— Кажется, дождь пошел, — тихо сказала она, голос чуть дрожал.

— Ничего подобного, — сказал он, — это я плачу.

И пошел к самолету. Она не смотрела ему вслед. Повернулась и пошла. Шла быстро, чтобы успеть на автобус в город, потому что следующий должен быть только через два часа.

Когда он пролетал над городом, который за полчаса стал ему ненавистен, он посмотрел вниз. И увидел крохотные домишки, совсем уж крохотные отсюда, сверху. А в них люди, подумал он, и все любят, и страдают, и плачут, и веселятся — какая разница, все это мелко, очень мелко сверху, думал он, и собственное горе на миг показалось ему не таким уж неповторимым.

Хотя ему было очень больно.

Стюардесса протянула ему поднос со стаканчиками минеральной.

— Вы очень бледный, — сказала она. — Вам плохо?

— Нет, — сказал он. — Все нормально, — и отвернулся к окну.

Мимо равные тучи мчались, как стадо бизонов. Дождь косями, тонкими штрихами ложился на кружок иллюминатора. Стюардесса прошла дальше, предлагая пассажирам воду. Рядом, через проход, спал толстячок. На его руке сидела вялая от холода муха. Впереди женщина читала газету...

Потом началась сессия, надо было действовать, готовиться, читать, сдавать, чтобы не остаться с сдвостом, не лишиться стипендии — тридцать восемь рублей в месяц с вычетом за общагу рубль пятьдесят, итого — тридцать шесть рублей пятьдесят копеек. Первый зачет я уже завалил и теперь стал усиленно готовиться, чтобы сдать другие, и постепенно

пустота, зияющая черная дыра времени, заполнилась зарубежной литературой, эстетикой, грамматикой турецкого языка. Начались ночные зубрежки накануне экзамена, предэкзаменационная суета и кутерьма в коридорах института и общежития, послэкзаменационные отчисления и прочее, и прочее. Жизнь снова входила в свое обычное русло, начинала фонтанировать мощными струями, и я знал, что главное — это быть молодым, а я полон энергии, желания работать и жить, жить каждой клеточкой тела, жить насыщенно и безрассудно. Впереди, как я думал, оставался еще большой отрезок жизни, который, конечно же, я не потрачу напрасну, как ту жизнь, что уже прожил, и совсем уж близко впереди маячили каникулы, когда я поеду домой, к родителям, и вообще много чего было впереди — а это и есть главное. Жизнь сверкала перед глазами, сводя восторгом дыхание, оглушая и оглушая великолепным блеском своим. Но временами (а поначалу — довольно-таки часто) маленькая горечь поднималась со дна души, с черной бездонной пропасти, и пока поднималась, становилась эта горечь все больше, разрасталась, превращаясь в жгущее горе, заслоняя собой сверкающую жизнь, полную света. Ира! Ира!.. И среди ночи, как снежок, упавший в буйство летнего дня, чудилась она мне рядом... А потом «плываешь» в утро, оседлав собственную надежду.

Наступили послеекзистенцистские будни, остались в прошлом пять прекрасных лет, полные бешеных, чудесных, печальных, замечательных, тоскливых, бесшабашных дней. Началась работа. Возникла масса неурядиц, неналаженных дел, неустраненных неприятностей. Я медленнее, но верно стал делать то, чего всю жизнь боялся, — погрязал в суе. Суе, суе... Но как-то научился сочетать с этим работу. Стал, как сжатый кулак — подойди, наврешь; перестали пошлеть нервы, детский плач, что раньше досаждал мне временами, безвозвратно прошел, я даже начал забывать, что вообще такое было. Все острее ощущалась неповторимость каждого дня, даже часа каждого...

Прошлым летом, возвращаясь с пляжа на машине, погиб в автомобильной катастрофе Зорик: лицом он врезался в ветровое стекло... Вместе с Зориком, мне казалось, я потерял лучшие годы своей жизни, лучшие ее дни...

Недавно, когда я в очередной раз был в Москве в командировке, закончив дело, неожиданно для самого себя я поехал в общежитие, где прожил пять лет. Хотя прекрасно понимал, что напрасно это делаю. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ведь шесть лет прошло. Ровно шесть. Этого срока для общежития института вполне достаточно, чтобы там не оказалось ни одной знакомой мне души.

— Вы к кому, молодой человек? — спросила меня вехтерша. Я поднялся на лифте на свой этаж, прошел по коридору к двери комнаты, в которой прожил пять лет, постоял в нерешительности, не зная, что делать... скорее всего, теперь надо просто уйти, говорил я себе. И тут дверь распахнулась, и вышел парень, конечно, незнакомый. Он удивленно поглядел на меня, потому что стоял я почти вплотную к его двери, и пошел по коридору. Когда он распахнул дверь, мне бросилось в глаза, что поменяли обон — цвет комнаты совершенно другой...

А ты что думаешь — откроется дверь, и выйдет Зорик? И обоим будет те же, что и шести лет назад? И все будет то же? Нет уж, милый. Дудки! Все должно меняться, вот все и меняется. Топай обратно. Чужой ты здесь. Давай отсюда. Топай. Вот так вот. Вплываешь в утро...